



Василий Вонлярлярский

**Ночь на 28-е сентября**

«Public Domain»

## **Вонлярлярский В. А.**

Ночь на 28-е сентября / В. А. Вонлярлярский — «Public Domain»,

Василий Александрович Вонлярлярский (1814–1852) – популярный русский прозаик середины XIX века. Повесть впервые опубликована в журнале «Отечественные записки» (1852, № 4–5). Интерес Вонлярлярского к роли легенд и преданий в жизни общества, попытка вскрыть рациональную их природу не были замечены критиками, порицавшими чрезмерную запутанность интриги и обилие случайностей, из которых складывается сюжет «Ночи на 28-е сентября».

## Содержание

Часть первая	5
ПИСЬМО ПЕРВОЕ	5
ПИСЬМО ВТОРОЕ	6
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ	9
ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ	12
ПИСЬМО ПЯТОЕ	18
Конец ознакомительного фрагмента.	22

# Василий Вонлярлярский

## Ночь на 28-е сентября

### Часть первая

#### ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Графиня Наталья С. к Софье Р.

Ужасно, Софья! Представить себе не могу, мой друг что наконец наступило время переписки, что вздохи мои ты услышишь только через неделю, что на жалобы мои ты будешь отвечать через две, а увидимся мы бог весть когда! И эту тоску, и это страдание доктора величают отдохновением – какая страшная мистификация! Вообрази себе, что мы живем в превысоких стенах, обтянутых не лионской тканью, а паутиною, что с закопченных потолков смотрят на нас какие-то опухлые богини, со стен – престранные предки, из-за дверей выглядывают сотни старых слуг, а из окон – черемуха. Отец в восторге от всего этого, а я чуть не плачу... И всем этим придется наслаждаться целые шесть месяцев! *C'est en devenir folle*<sup>1</sup> право! Кстати, скажи моей доброй Miss Thon, чтобы она ради бога не высылала мне ни одной вещицы из моего кабинета, ни одной шляпки, ни одного платья, а прислала бы резиновый колпак, галоши и, если можно, маек от пчел и комаров; вот все, что необходимо мне в это несносной пустыне. Мы дотащились сюда в субботу вечером. В воскресенье отец зазвал прямо из церкви легион соседей и соседок. Что за люди, *ma chigé*!<sup>2</sup> Ты не поверишь: на девицах перчатки с отрубленными пальцам? В девять часов я уснула от тоски и усталости. Отца начинаю не любить: он смеется и дразнит меня как ребенка. В спальню влетела летучая мышь; в камине всю ночь кричал сверчок; я спала дурно, проснулась презлая, вышла в сад. Елки там обстрижены *a la mal content*;<sup>3</sup> старые бабы начали обнимать и целовать меня. Потом привели мою верховую лошадь; я обрадовалась ей до слез. Папа счастливее, чем когда-нибудь; еще неделя – и я чувствую, что мы пресерьезно поссоримся. Какой нестерпимый эгоизм! заставить меня переселиться с Елагина в Скорлупское... милое название, не правда ли? – и переменить невозможно. За ужином нам подали карасей со сметаной, *c'est tris bon*, *ma chigé*,<sup>4</sup> папа ел за четверых; он делается *mauvais genre*;<sup>5</sup> того и смотрю, что наденет полевик; даже манеры его портятся, а картуз... какой картуз! нет, я украду его и сожгу непременно. Мне грустно. Писать долее не в силах; я рассержена, я сделаю ему сцену... этому картузу. Прощай, Софья, и пожалей меня!

Увидишь Надину, скажи, что мы блаженствуем. Хорошо блаженство...

---

<sup>1</sup> Есть от чего сойти с ума (фр.).

<sup>2</sup> дорогая моя! (фр.)

<sup>3</sup> на манер «недовольного» (фр.).

<sup>4</sup> это прекрасно, моя дорогая (фр.).

<sup>5</sup> дурного тона (фр.).

## ПИСЬМО ВТОРОЕ

Не могла выдержать, чтоб не написать; завтра почта и посылают в город. Вообрази себе, мой друг, что городом называют здесь грязную улицу, обставленную маленькими кривыми домами, из досок, кажется, цветом похожих на шафран и земляные груши; в лавках рядом с пастилою лежит желтое мыло и сальные свечи; у двери вяжет чулок безобразная баба, и перед ней – о ужас! прегрязные сельди в корыте, и с ними пустые помадные банки. Папа требует, чтобы я была у всех с визитом; для этого я имела глупость надеть мое любимое платье гласе, и не знаю где, но, вероятно, прежде меня, у кого-нибудь на диване сидели птицы: прости, платье! Я объявила отцу, что больше не поеду и предпочитаю заключиться в нашем Скорлупском. Впрочем, это Скорлупское очень недурно; природа наделила его некоторыми прелестями, которые, при другой обстановке, произвели б большой эффект. Во-первых, в нескольких шагах от балкона течет Днепр. В первые дни погода была ясная, тихая, и я было его не заметила, но вчера из-за рощи поднялась туча и скоро обложила горизонт; сначала дунул ветер, и верхи деревьев зашевелились, но туча поднялась еще выше, солнце скрылось, ветер сделался сильнее, и бор заревел так громко, что мне стало страшно; когда же ветер превратился в вихрь, а вековые сосны зашатались, я невольно взглянула по направлению реки, и тогда только, та шиге, внутренне созналась, что, не сделав визита соседу, поступила очень невежливо. И Днепр имел полное право сердиться: он был истинно прекрасен; смотря на гнев этот с трепетом, я была от него в восхищении. Нева очаровательна; волны ее и светлы и прозрачны; в самую бурю все движения ее как-то плавны, грациозны; не внушает она ни боязни, ни страха; катясь по роскошной набережной, мимо великолепных дворцов или прелестных дач, мы едва замечаем волнение Невы; но не таков Днепр – этот древний исторический Днепр! За несколько минут до бури я едва заметила его в зеленой чаще ив: тогда он, как вежливый старик, обходил осторожно каждый кустик, каждую травку, казалось, уклонялся от всякого столкновения голубой струи своей с песчаным берегом... и тот же Днепр, при первом взрыве вихря, при первом стоне бури мгновенно вырос, поседел, и с ужасным ревом стал раздирать землю!.. Как ничтожны показались тогда неприступные скалы, еще недавно смотревшиеся в него с гордостью! как низко поклонился ему исполинский лес, а меня, конечно, он и не заметил! В девятом часу звон колокола (у нас звонят а *propos de tout*<sup>6</sup>), позвал меня к чаю.

Весь вечер я с отцом просидела вдвоем, в его кабинете; папа читал мне до самого ужина фамильные легенды; время прошло скоро: и страшно и приятно было! Предания эти так оригинально любопытны, что я не могу не передать их тебе, мой друг, во всей подробности. Вычитали мы их в престаринной книге, переплетенной в позолоченную кожу с медными украшениями, а книгу эту отец нашел в библиотеке своего прадеда, прежнего владельца Скорлупского; на портрете прадед кос, но, может быть, в натуре этого не было. Слушай же. Ты, конечно, знаешь, та шиге, что губерния наша в древние времена неоднократно переходила то к России, то к Польше и, находясь на границе, служила театром непрерывных войн; нет уголка земли, говорит папа, на котором не находили б человеческих костей или оружия; рассказам о кладях нет конца – преинтересная страна! Фамилия же графов С. была некогда польская, а легенда относится к той эпохе, когда первый предок наш принял греческую веру. Вспомнить не могу – так страшно это предание! Вот видишь ли, мой друг, в тех самых стенах, где мы живем теперь, жил некогда пресердитый и пребогатый пан; границы владений его заходили далеко за Днепр; леса были дремучие; в них содержал он, под видом пограничной стражи, просто разбойников и, пользуясь вечными смутами, творил такие злодейства, которым в наше время не решаешься верить. Например, в тех самых погребках, где у нас хранятся яблоки, раздавались по

---

<sup>6</sup> по всякому поводу (фр.).

ночам жалобные стоны заключенных; на дворе производились казни, пытки, словом, всякого рода ужасы. Большую часть жертв его составляли жида; в глазах пана жид и виноватый были слова однозначные, а ограбить жида, замучить, уничтожить – ровно ничего не значило. Пан смеялся, глядя на слезы жидов, и приходил в бешенство, когда красавица-жена его пыталась смягчить участь страждущих; он даже, вообрази себе, *та шиге!* бивал ее иногда в присутствии пировавших с ним гостей, И скоро вогнал ее в могилу. Единственное существо, с которым он обходился ласково, был сын, прекрасный молодой человек, воспитанный в Варшаве, где воспитывалась вся блестящая молодежь того времени. Молодой человек был очень красив, ловок, статен и сводил с ума всех девушек в окрестности; он увозил некоторых из них, прятал в лесах и потом снова отсылал к родителям, которые, боясь пана, молчали и не смели жаловаться. Смежно с его землями находилось владение небогатого, но известного своими заслугами русского боярина; у боярина было двое детей: сын, служивший в московских дружинах, и дочь, молодая девушка, красоты необыкновенной. Старик-отец страстно любил обоих и, разлучась с сыном, хранил дочь, как единственное утешение, как сокровище, в пожертвовании которым отечество не нуждалось. Весть о чрезмерной красоте Ирины дошла до слуха молодого человека, который поклялся употребить все, чтобы овладеть ею. Так как отец был верным помощником во всех постыдных делах его, то он, без сомнения, прибегнул бы к его пособию и открытою силою мог вырвать дочь из рук отца; но такой поступок мог обратить на него внимание русского правительства, и пан решился ожидать благоприятнейшего случая, который не замедлил представиться. Польский королевич Владислав признан был в Москве царем русским, и в то же время Сигизмунд осадил Смоленск. Поляки торжествовали. Ты понимаешь, мой друг, что я касаюсь истории вскользь, а потому и скажу тебе только, что различными происками прадед наш успел оклеветать соседа своего, боярина, и получить от короля Сигизмунда полномочие задержать боярина и представить его на суд поляков. Защищаться против вооруженной силы было невозможно, и боярина не только взяли, но и умертвили, будто бы в схватке; дочь его между тем успела скрыться. На след ее напущена была целая стая собак, приученных паном к подобным розыскам; действиями ее управлял сам молодой человек. В глухую осеннюю полночь озлобленные животные достигли в лесной чаще потаенного входа никому до того не известной пещеры и с страшным воем принялись рыть землю; подскакав к пещере, которая должна была скрывать несчастную девушку, молодой человек соскочил с лошади, отыскал отверстие, едва прикрытое наскоро придвинутым камнем, выхватил меч и стал отодвигать камень, который уступил силе; но вместо ожидаемой жертвы ему предстал какой-то пустынник; он осенил его крестным знаменем и именем бога заклинал не идти далее. Удар меча был ответом на эти слова. Обагранный кровью, пустынник поднял руку, молча указал на убийцу, и в тот же миг многочисленная стая собак с бешенством бросилась на своего повелителя. Терзаемый со всех сторон молодой человек огласил воздух таким адским хохотом, что вся окрестность дрогнула; звери завывали, а в соседних селах колокола сами собою загудели протяжно и заунывно. Что случилось с боярской дочерью и с пустынником – неизвестно; но легенда гласит, что ровно через год, в полночь, дремучий лес на огромное расстояние огласился тем же смехом, и в продолжение нескольких минут вторил ему и рев собак, и вой зверей, и заунывный голос колоколов. Старый пан крепко задумался и стал молиться; еще прошел год – то же явление. Отец погибшего сына на месте чудного происшествия заложил обитель, принял православную веру и постригся. Ближайший наследник вступил во владение всем богатством панским, а обитель существует и теперь. Вот тебе, *та шиге*, и легенда; она страшна, но еще страшнее то, что все жители Скорлупского утверждают (чему хоть и страшно, а хочется верить), будто бы двадцать восьмого сентября, ровно в полночь, даже из нашего древнего дома явственно слышен и хохот, и лай, и вой, и звон. Я спрашивала у отца, верит ли он этим рассказам, и ожидала обыкновенной его улыбки, но, к удивлению моему, он подумал, пожал плечами и не отвечал ни слова.

Как тебе это нравится? Что же касается до меня, то я положила у самой постели своей двух горничных... Прощай покуда, Sophie, и напиши, ради дружбы нашей, каков был бал у княгини Б... и кто больше всех произвел фурор. Бог мой, какая тоска у нас!.. А Днепр очень хорош!



## ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Нет, не пиши мне таких писем, друг мой, Sophie! Когда я читаю их, настоящая жизнь моя становится еще несноснее. Ты в Павловске блаженствуешь, а я, бедная: я!.. И еще целые пять месяцев подобных! И все это для здоровья, когда можно умереть с тоски! Ты говоришь, что какой-то Поль Старославский собирается приехать в наше соседство; но кто же этот несчастный? и может ли он быть порядочным человеком, если собирается променять Петербург на нашу глушь? Вероятно, больной; впрочем, по описанию твоему я заключила, что будущий сосед наш не гвардеец – плохое утешение! Папа желает свозить меня к одной из дальних его родственниц; там ярмарка и, кажется, домашний спектакль. О первой я не имею никакого понятия; последний воображаю. Мы едем на днях. Единственным рассеянием нашим во все это время был здешний исправник, человек лет сорока, рябой, с золотой цепью на шее. Для того чтобы мне понравиться, он изобрел прескучную вещь: мы по целым суткам удим рыбу, и исправник надевает своими руками живых червяков на крючки. Можешь представить, как противен мне его способ нравиться? Я, впрочем, убеждена, что со временем буду очень довольна теперешним пребыванием своим в деревне. В столице никто из нас не имеет никакого понятия о провинциальной жизни: этот мир так мало походит на наш обыкновенный, что, случайно увидев его, непростительно было бы не изучить нравов и обычаев этого неизвестного мира. Не думай, однако ж, чтоб однообразная, скучная для нас жизнь в деревне не имела своей поэзии, чтоб и в самом скромном крестьянском быту не было своих прелестей. Я еще не сроднилась с этой поэзией, не постигаю, не понимаю ее и прислушиваюсь иногда к отдаленному шуму воды, кваканью лягушек, заунывной песне прохожего, а главное – к пению соловья, не в клетке, не в тесном цветнике, но в темной, густой чаще бесконечной рощи. Признаюсь, тебе, *chère amie*<sup>7</sup> на сердце происходит у меня что-то чудное, что-то новое, одним словом, что-то такое, чего не ощущаем мы, даже танцуя редову... Возвращаясь к Скорлупскому. Чем больше знакомлюсь с ним, тем более мирюсь со своею новою жизнью, и повторяю, что, будь ты со мной, Sophie, да еще два-три человека поинтереснее, я согласилась бы прожить тут, пожалуй, целые пять месяцев. Доктор приказал мне вставать почти с солнцем, гулять много, обедать рано и рано ложиться. Знойный полдень скучен, но вечер иногда, право, очень мил. В одной из ближних деревень отыскалась моя кормилица, простая, но добрая женщина; она плакала, целуя меня; в первый визит принесла она мне курицу, которую я кормлю сама; во второй еще курицу; а третьего дня я отправилась к ней в гости пешком. С первого взгляда бедность и даже нищета кормилицы привели меня в отчаяние, я понять не могла, как можно довольствоваться двумя темными избами, в которых нет ни мебели, ни даже фаянсовой посуды; мне стыдно было расспрашивать ее о причинах подобных лишений, но, вообрази себе, кормилица не только не жаловалась на судьбу, а напротив, с гордостью стала хвастать своею роскошью, достатком и за каждым словом превозносила доброту папа. Три часа просидела я у этой доброй женщины, осмотрела ее садик, не больше моего кабинета, ее огород, телят, птиц и внучат и все хозяйство; оказалось, что вообще крестьяне наши пресчастливейший народ, и, в доказательство этой истины, кормилица преважно объявила мне, что у каждого мужичка по две лошади кругом на душу. Je n'y comprends rien,<sup>8</sup> но все равно... До дому провожали меня девушки всей деревни; они так громко пели, и пели такой вздор, что мне становилось за них совестно. Костюмы здешних девушек и в особенности их талии не изящны, это правда; но к ним привыкли, и потому бог с ними! Желая поблагодарить их за песни и сделанный мне прием, я хотела раздать девушкам несколько вещиц, которых у меня так много, но папа уверил меня, что подобные подарки нико-

---

<sup>7</sup> милая подруга (фр.).

<sup>8</sup> Я в этом ничего не понимаю (фр.).

гда не будут вполне оценены, и, взамен их, он приказал целую неделю не требовать девушек ни на какие работы. Весть эта возбудила всеобщий восторг; песни превратились в радостный крик, а к песням присоединились танцы, но такие танцы, которых описать нет никакой возможности. День кончили мы в обществе сельского священника, также лица для меня нового. В нем нет ни педантизма, ни претензий; он должен быть очень добр. В десять часов мы разошлись. Не желая спать, я в первый раз прочла несколько страниц одного русского журнала; мне попался разбор книг: какие неприятные вещи говорят друг другу русские авторы. Впрочем, некоторые замечания очень остроумны, и я невольно смеялась.

*На следующий день.*

Ночью была страшная гроза; град разбил стекла, уничтожил цветы в саду и побил поля. Папа говорит, что какой-то хлеб пострадал и вся надежда на другой; *tout cela est du grec pour moi*,<sup>9</sup> а жаль мужичков! До самого утра дождь, ударяя в крышу, производил шум, который, мешаясь с отдаленными перекатами грома, расположил меня к самому сладкому сну. Солнце пышно осветило грустную картину всеобщего беспорядка... Деревья были местами поломаны, а дорожки изрыты глубокими промоинами. К полудню все просияло, и я отправилась взглянуть на Днепр: он был мутен и быстр; на желтоватом гребне своем нес он части строений, бревна и множество предметов, которые рассмотреть было трудно. За всем этим гоняются смелые рыбаки в миниатюрных лодочках; при мне одна из них опрокинулась – и как бы ты думала, мой друг, что сделали другие рыбаки, смотря на своего падавшего в воду товарища? они расхохотались и не только не оказали ему никакой помощи, но, напротив, мешали несчастному выйти на берег; впрочем, смеялся больше всех сам утопавший, который брызгал на веселое общество водою и не потрудился даже переменить одежды. *Quels hommes!*<sup>10</sup> Папа уверяет, что прибрежные жители Днепра ныряют как утки; а ежели иногда тонут, то это только по собственному желанию, чего, впрочем, почти никогда не случается. Кстати о Днепре! В 1812-м году, когда уничтоженное французское войско бежало из России, маршал Ней с арьергардом два раза вынужден был пройти в окрестностях наших через реку и оставил на дне ее большую часть своих сокровищ. По словам некоторых стариков крестьян, помнящих событие, полные фуры золота и прочих драгоценностей следовали за маршалом, а кому неизвестно, в каком положении соединился он с главною армиею своею. Какое поприще для искателей богатств и сколько занимательных анекдотов! При свидании постараюсь передать тебе их, а пока ограничусь описанием презабавного происшествия, которое хотя и не совершенно относится к Днепру и маршалу Ней, но довольно оригинально. На прошлой неделе мы с папа отправились под вечер на большую городскую дорогу пешком; воздух был свеж, комаров как-то меньше, а целью прогулки нашей была надежда встретить посланного за письмами и журналами. Не успели мы с версту отойти от села, как слышим в кустах прегромкое пение; такого рода обстоятельство не обратило бы на себя нашего внимания, но песня была не русская, а французский романс. «Кто бы мог быть этот певец?» – спросил с любопытством папа, и вдруг на опушке появился человек лет сорока, смуглый, невысокий ростом, но веселый и открытой наружности; на нем был какой-то мундир без пуговиц, соломенная шляпа и клетчатый плащ. «*Salut, mon propriitaire!*»<sup>11</sup> – воскликнул прохожий, проходя мимо отца, который, конечно, остановил его и засыпал вопросами: откуда он, куда идет и зачем. Господин в фантастическом костюме был француз, шел в город Minsky, и за таким делом, которого, конечно, ты никогда не отгадаешь. Не хочу тебя мучить, *ma chiere*, и потому скажу, что это за дело. Один из родственников чужеземца завещал ему, умирая, бочонок с червонцами, закопанный умершим другом умершего же родственника на большой дороге между городом Minsky и Moscowa; признаком того места, на котором нахо-

<sup>9</sup> это мало доступно моему пониманию (фр.).

<sup>10</sup> Что за люди! (фр.)

<sup>11</sup> Здравствуйте, хозяин! (фр.)

дился бочонок, была кривая березка с нарезанным на ней крестом. Папа не мог удержаться от смеха, слушая наивный рассказ француза, который с большим трудом согласился наконец, что с двенадцатого по сорок пятый год березка могла и быть вырублена, и даже заменена другою, не говоря уже о бесчисленном количестве деревьев, находящихся на пути от Москвы до Minsky, что, вероятно, значило Минск. Разочарованный прохожий задумался ненадолго и, помолчав, вдруг сам же стал смеяться над собою, называя и родственника своего, и себя такими уморительными названиями, которых я и припомнить не могу. Папа, сжались над ним, позвал его на несколько дней в Скорлупское, на что тот охотно согласился, и мы втроем возвратились с прогулки. Француза зовут Жозеф. На следующее утро мы нашли Жозефа в саду; вооружась лопатою, он взял под команду свою садовников и, никем не прощенный, распоряжался всеми работами. Поздоровавшись со мною, как со старою знакомою, он объяснил мне свои проекты касательно будущих улучшений цветника и принялся копать землю, напевая что-то; с садовниками объяснялся он частью на своем наречии, частью пантомимою; как бы то ни было, но его понимали и слушались. Папа, любящий все веселое, не только не мешал Жозефу приводить в исполнение его проекты, но дал себе слово не напоминать даже ему, что он гость, не имеющий ни права, ни причины хлопотать так много в месте, ему совершенно чуждом. Наступил час обеда, и Жозеф попросил стакан молока и кусок хлеба; от всего прочего, предлагаемого ему, он решительно отказался, утверждая, что много есть – дурная привычка. Гость проработал в саду до поздней ночи, выпил второй стакан молока, переночевал в роще, под открытым небом, и с рассветом не только себя, но и всех товарищей своих снова вооружил лопатами. Скоро неделя, как Жозеф у нас, и папа уже до того привык к нему, что не может подумать равнодушно о возможности с ним разлучиться. По паспорту значится, что приятель наш эльзасский уроженец, ремеслом переплетчик. Нет в доме занятия, в котором он не брал бы участия; все слуги полюбили его; а я болтаю с ним по нескольку часов сряду. Вот что значит, *chige Sophie*,<sup>12</sup> жить в деревне: всякий вздор занимает, всякое новое лицо – находка, которою дорожишь. Скорый ответ твой почту за доказательство, что письма мои тебе не надоели, и буду писать чаще.

---

<sup>12</sup> дорогая Софи (фр.).

## ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Сию минуту вышла из экипажа, распечатала претолстый пакет писем, полученных с почты, отыскала твое, не прочла его, а проглотила с жадностью – и мне снова сгрустнулось. Охота тебе, друг мой, напоминать о всех прелестях петербургской жизни, и кому же? бедным обитателям М-ского уезда! Ты, Sophie, не великодушна, и месяц назад послание твое стоило бы мне много слез; но, увы! в эту минуту и ум, и чувства, и даже сердце мое охладели и притупились до того, что самая тоска не вырывает не только жалоб, но даже вздоха; я начала довольно благоразумно смотреть на светские удовольствия, и – о, проза! ценю здоровье выше радостей. Из слов твоих я заключила, что будущий сосед мой произвел на тебя впечатление, но скоро ли же прибудет к нам твой Старославский, и как не потрудиться было описать его подробнее? Объясняют ли что-нибудь слова: «очень мил, оригинален, интересен, и проч.» и к кому не приклеиваются подобные эпитеты? От нечего делать иногда я старалась представить себе этого Старославского, придавала ему качества всех прочих моих знакомых – конечно, порядочных – и потом, окончив идеал, спрашивала сама у себя, мог ли бы он понравиться мне, и всегда внутренний голос отвечал мне: *нет!* В самом деле, допустим, что молодой человек этот хорош собою, следовательно, глаза его или черные или голубые, цвет лица бледный, волосы черные, каштановые, наконец, белокурые, нос римский или греческий. А ум? Какого рода может быть ум Старославского? Серьезен – тоска; насмешлив, зол – обыкновенно; ум гостиных – пуст; ну какой же, спрашиваю? Первая встреча ограничится, разумеется, поклоном, двумя или тремя французскими фразами, остроумными *reparties*<sup>13</sup> и описанием последних петербургских происшествий, балов, гуляний и прочее, и прочее. Но станет ли он ухаживать за мною? конечно, да! А нет – *опять тоска*. Допустим интереснейшее, то есть первое, предположение; не слыхала ли я уж сто раз всего, что скажет мне влюбленный Старославский? не встречались ли его будущие взгляды с моими взглядами, и не исчислены ли вперед все подобные случаи всеми романистами нашего времени? О боже! как ограничены у людей средства нравиться, и как дурно, как безрассудно они поступают, не запирая прекрасного пола нашего до минуты замужества в высоких, неприступных теремах! Но довольно об этом и в сторону философию. М-ский уезд, поверь мне, богаче новизною вашего блестящего света, и ты же, Sophie, просила меня продолжать мой журнал – я повинуюсь.

Дальняя родственница наша, Агафоклея Анастасьевна Грюковская, считается одной из самых богатых и почетных дам в околотке; она вдова, толстая, красная, с маленьким лбом в парике, с бородавкою на левой веке, с белою бровью над правым глазом и с перстнями на всех пальцах; четыре дочери, столько ж приживалок, тьма слуг, плохих картин – все это помещено в длинном деревянном строении с двумя крыльцами и бельведером. Когда мы подъезжали к деревне Грюковской, во всех местах, где мы останавливались, всюду говорили нам, что Агафоклея Анастасьевна ожидает нас с минуту на минуту. Сама же Агафоклея Анастасьевна уверяла нас в противном и показала вид удивления при нечаянном прибытии нашем. Такова деревенская политика! Ожидать – считается только что не унижением в М-ском уезде. Так называемые кухни мои могли бы быть не дурны; они с розовыми щеками; некоторые белокуры, другие брюнетки и все с прехорошенькими глазками и зубками (кроме старшей), но все так жеманны и аффектированы, что, право, смешно; для чего все это? не понимаю. Ни одного слова не скажут они просто, всякое движение головы должно быть заучено прежде, и восклицаниям нет конца... утомительно! Я спросила у старшей, пресентиментальной девицы, курит ли она. «Ах, как это можно!» – «Отчего ж?» – «Вы шутите, кузина; нет, наверное шутите: *mais c'est une*

---

<sup>13</sup> репликами (фр.).

horreur!»<sup>14</sup> В ответ на эти возгласы я зажгла папироску. Меньшие, впрочем, которых в семействе считают детьми, несмотря на их двадцатидвух– и двадцатитрехлетний возраст, довольно милы, но вертлявы и наивны через меру; они краснеют по заказу и делают из невинности род службы; волосы их подстрижены и завиты в кружок; одеты они в короткие платьица с черными шнурочками и коралловыми крестиками на шеях; они не ходят вовсе, а бегают. Старшая, Антонина, ученее прочих, литературные споры решаются ею; слова ее – закон для семейства.

Одинаковыми с нею преимуществами пользуется в доме, и даже в околотке, единственный сын Агафоклеи Анастасьевны – тридцатилетний брюнет с лицом молочного цвета, прозванный Купером, иначе Куприяном Савичем; Купер, или Куприян, так замечателен в своем роде, что нельзя не сказать о нем несколько слов. Он, во-первых, влюблен в себя до безумия; разговаривая тихо, протяжно и отборными выражениями, кузен мой как бы прислушивается к наслаждением к собственному голосу и только что не рукоплещет ему. Несколько литературных произведений, прочитанных только в семействе, доставили Куперу титул поэта, и он носит этот титул с самодовольствием и гордостью; по мнению его и Антонины, он имеет необыкновенное сходство с Байроном, потому что, подобно знаменитому британскому лорду, хромает на одну ногу и очень редко стрижет свои ногти. Молодой Грюковский долго не являлся на зов матери, по словам которой, на него, как на всех поэтов, нападает по временам ужасная хандра, и тогда никакие земные побуждения недоступны его творческой, превыспренней душе – вот слово в слово тирада Агафоклеи Анастасьевны – вероятно, выученная ею со слов сына. Заключение это я вывела из последующих бесед моих с Купером. Ты помнишь, Софья, что я одарена способностью представлять всех и что некоторых я представляю в совершенстве; к числу последних, по всей справедливости, принадлежит молодой родственник наш. Я не только переняла манеры и голос его, но выучилась говорить его фразами; таких фраз ты не услышишь, конечно, во всю свою жизнь, если не познакомишься с самим поэтом. Например, выхваляя мой взгляд, он выразился так: «Кузина! как чудно упоителен взор ваш и как гармонически потрясает он фибры сердца!» При этом Купер задвинул зрачки глаз своих за верхние веки, закрыл лоб рукою, покачал головой и, как бы в изнеможении, развалился в креслах. Слушая сына, Агафоклея Анастасьевна с торжествующей улыбкой поглядывала на меня, а Антонина вздыхала и делала из глаз своих почти то же, что и брат. Вот тебе очерк семейства, которое в М-ском уезде ставят за образец *comme il faut*<sup>15</sup> и сколько, говорят, жертв сделано Куприяном и Антониною в Заднепровском крае.

К следующему дню приезда нашего готовился спектакль: в одной из кладовых ставили сцену, расписывали декорации, строили подмости для публики, и нередко до слуха нашего урывками долетала музыка и слова водеvilных куплетов, повторяемых поочередно несколькими дочерьми Агафоклеи Анастасьевны несчетное число раз. Какие пьесы готовились к спектаклю – хранилось пока в тайне; гостей к представлению ожидали множество. Вечер прошел в угощениях и картах; за несколько минут до ужина приехало сначала одно из соседних семейств, вовсе не интересное, а потом какой-то старик с серебряною головою; тем и ограничилось общество наше, к видимому неудовольствию хозяев. Из-за стола встали гораздо за полночь, нимало не желая спать, я предложила прогулку и подала руку Куперу, который престранно посмотрел на меня, но поспешил надеть свои грязные перчатки и последовать за мною в сад. Ни одна из сестер не оказала желания сопутствовать нам: одна боялась сырости, другая змей, третья подвержена была вечным флюсам, и мы отправились вдвоем. Причины, представленные сестрами поэта, были одна другой неосновательнее, потому что воздух был едва прохладен, тумана и сырости заметно не было, а змеи существовали только в воображении чувствительной Антонины. Молодой месяц то забегал за белые, прозрачные облака, то снова появлялся на темно-

<sup>14</sup> но ведь это ужасно! (фр.)

<sup>15</sup> благопристойности (фр.).

синем небе и как в бесконечном зеркале отражался в обширном и чистом пруде, вставленном в кудреватую рамку лоз и тростника; изредка раздавались всплески воды от падавших в нее с неба диких уток, и тогда полночный концерт прибрежных птиц умолкал на минуту и снова начинался под мерный и звонкий стук чугунной доски сельского сторожа... Мы прошли сад, плотину и стали взбираться на холм. По обеим сторонам дороги расстилались необозримые нивы, по которым местами отделялись, подобно островам, темные букеты деревьев; вдаль, на горизонте, чернелся лес. Я почувствовала, что Купер едва заметно пожал мне руку, и посмотрела на него с удивлением; он кашлянул, поправил фуражку; мы пошли далее. «Вы преэксцентрическое существо, кузина!» – сказал мне поэт, вздыхая и пожимая мою руку. «С вами, cousin, пренеловко ходить», – отвечала я тем же тоном, освобождая руку свою. Он стал извиняться, уверял, что прелесть ночи и очарование общества моего перенесли его в лучший мир. Что до меня касается, то, предпочитая по крайней мере оставаться в этом мире неприкосновенною, я решительно пошла одна и старалась по возможности сохранить положенную мною дистанцию между поэтом и мною. С полчаса времени слышались мне выспренние фразы Купера, по счастью не требовавшие ответов, потому что они обращались к моему лицу не прямо, но рикошетами, по столкновению с эдемом, с миром миров, с затерянным в пространстве сонмом звезд, и проч. Между тем мы достигли вершины холма, и новый предмет привлек мое внимание: вдаль пред нами показалась беловатая точка, очень похожая на каменное здание, освещенное луною. «Что это там белеется?» – спросила я у Купера, указывая на точку. «Это село Вершнево, или Грустный Стан, кузина». – «Странное название!» – заметила я. «Последним названием своим, – продолжал поэт, – обязано оно какому-то несчастному случаю». – «А вы знаете этот случай?» – «Нет, не совсем; к тому же невозможно верить всякому вздору, хотя, впрочем, нельзя не согласиться, что и до настоящей минуты на всех потомках владельцев села лежит печать чего-то необыкновенного». – «Кому же принадлежит село в эту минуту?» – «Одному престранному существу, – отвечал небрежно поэт, – человеку, нестерпимому по своим интеллектуальным качествам, человеку, отрицающему всю поэзию, вложенную судьбою в души избранных, и не признающему даже самых осязательных, самых доступных преимуществ натур поэтических». – «Но кто же, наконец, этот чудак?» – воскликнула я с нетерпением. «Некто Старославский». Я невольно вскрикнула. «Он мне приятель», – прибавил Купер. Мне досадна стала мысль, что Старославский, тот самый, про которого ты писала ко мне, – приятель моего родственника; известие это рассеяло в один миг все очарование; я даже не потрудилась дослушать подробного исчисления недостатков будущего соседа и возвратилась домой в самом неприятном расположении духа. Последняя надежда – видеть хотя одного интересного человека в этой пустыне – уничтожилась; это просто ужасно, это невыносимо! А как много обещали хорошего и название «Грустный Стан», и твои письма! Подходя к крыльцу, мы встретили в различных местах сада боязливых кузин, являвшихся перед нами как бы из-под земли; каждая из них расспрашивала меня иронически, далеко ли мы ходили, приятно ли провели время и не приключилось ли нам чего-нибудь необыкновенного; сначала я не могла понять, к чему клонились все эти вопросы, но двусмысленные слова Антонины навели меня на истинный путь: сестры поэта находили неприличною и опасною прогулку с их очаровательным братцем, а намеками выражалось желание дать мне почувствовать, что от проницательных глаз их не ускользнуло убийственное впечатление, произведенное поэтом на мое сердце. Пожелав всему семейству покойной ночи, я просила указать мне мою комнату и, признаюсь, была неприятно удивлена, узнав, что комната, мне назначенная, была спальня четырех сестриц со всеми ее прозаическими принадлежностями. Несколько горничных бросилось на нас со всех сторон; напрасно старалась я уверить их, что довольствуюсь услугами собственной; они, не обращая внимания ни на просьбы мои, ни на увещания, только что не насильно раздевали меня и засыпали вопросами, не угодно ли того, не угодно ли другого; наконец ночной туалет кончился, и мы остались впятером, погруженные в прелесть перин, слишком мягкие, потому что тол-

стый веревочный переплет кровати очень явственно напоминал о себе всему телу. Не помню, о чем толковали мы до глубокой ночи. Признаюсь тебе, chère amie, я всячески старалась навести разговор на Старославского, и старалась, верь мне, потому только, что он интересует тебя. После долгих прелюдий мне удалось наконец назвать Грустный Стан. «Ах, это имение Старославского!» – воскликнула одна из вечно прыгавших кузин. «А вы его знаете?» – спросила я равнодушно. «Немного. Он никуда не ездит, и, сколько Купер ни старался с ним сблизиться, никак в этом не успел». Наивный ответ блондинки успокоил меня несколько: поэт мог вообразить, что он дружен с Старославским; но начало было сделано, и продолжать разговор я могла, не возбудив в проницательных девицах ни удивления, ни сомнения; та же блондинка сделала мне претёмный портрет твоего знакомого: по мнению ее, Старославский был или ограниченный, или дурно воспитанный молодой человек, предпочитающий охоту приятному обществу; он не знал лишений, выполнял все свои прихоти и кончит так, как кончает большая часть ему подобных... Его встречали кузины мои на окрестных дорогах, звали к себе, но он, забыв все приличия, сказал им однажды, что у них скучно, и с тех пор, разумеется, они отворачивали голову, завидя его вдаль, и избегали с ним всяких встреч. Признаюсь тебе еще раз, друг мой, что справедливое негодование сестриц на Старославского сделало мне гораздо больше удовольствия, чем дружба к нему поэта, и под влиянием последнего впечатления закрыла я глаза и открыла их от нестерпимого блеска солнца, достигшего половины своего обычного пути. Перестаю писать, потому что устала, и папа зовет прогуливаться. Прощай, mon ange<sup>16</sup> до завтра. Пишу большею частью по утрам: память в это время рисует прошлое и ярче и живее.

*На следующий день.*

Я проснулась с головною болью: теснота, суэта и излишняя внимательность кузин измучили меня; но сегодня спектакль – и отказаться присутствовать при нем, даже под предлогом смерти, почли бы за спесь; делать нечего, в 10 часов я вышла в гостиную. В комнатах душно; солнце жжет; ни малейшего колебания в воздухе. Мне предложили идти гулять. Купер согнул руку и поднес ее мне с одною из тех тирад, которые я слышала накануне. Отказаться от прогулки было невозможно: она имела целью удалить все общество из дома; нужно было перенести стулья и кресла в театр или кладовую. К обеду явилось несколько гостей, которых я не рассмотрела; впрочем, один – средних лет, с лицом ничего не выражавшим – подсел ко мне за столом и говорил без умолку. Расспросив предварительно, не знакома ли я и не родня ли его знакомым и родным, он как-то коснулся Старославских; я, разумеется, приостановила его на этом предмете, и разговор оживился. Не могу не согласиться, что Старославский твой действительно должен быть существом не совершенно обыкновенным. Гость Грюковских далеко не поэт, и рассказы его нимало не отзываются фантазией; напротив, они просты и дышат истиною. Гость коротко знал отца Старославского, все семейные дела его, некоторые подробности жизни, привычки, характер; одним словом, из всего слышанного мною я почти составила себе поверхностный очерк будущего соседа и довольна им гораздо более, чем вчера. Главная причина примирения моего с ним состоит в том, что он не очень молод: ему более тридцати лет; потом он, по словам соседа, должен быть без больших претензий, с твердым и непреклонным характером, и нисколько не занимается собою; состояние его значительно, он не скуп, не сентиментален, не любит лошадей, сплетен и ни в кого не был влюблен. Впрочем, последний пункт я поместила между прочим, а все прочее с целью – короче познакомить тебя, друг мой, с тем человеком, который, кажется, начинает тебе нравиться. Но возвратимся к спектаклю; постараюсь не забыть ни малейшего обстоятельства. В 8 часов пошел дождь, и бумажные фонари, развешенные по деревьям, погасли; пыль превратилась в грязь, и все общество с помощью четвероместных дрожек переехало в кладовую; я нечаянно дотронулась до дрожек руками и – вот уже сутки, как, несмотря на все известные способы выводить пятна, запах дрожек и цвет

<sup>16</sup> ангел мой (фр.).

их неразлучен с моими руками. То, что называли сценою, было сколочено кое-как из досок, размалевано мелом, расписано яркими красками и представляет рисунки двух муз с циркулем, лирою и треугольником; у муз атлетические формы и позы вовсе неграциозные; а два голубя, держащие венок на самой середине занавеса, величиною с горных орлов. Скамьи, нетвердые на своих основаниях, равно выжелчены чем-то марким. Обеденный сосед мой подостлал под себя носовой платок, я сделала то же, нашему примеру последовал папа и многие другие гости. Оркестр расположился позади зрителей и начал увертюру не разом; некоторые инструменты даже значительно опоздали; но, раз начав, каждый по очереди продолжал держаться своего такта, несмотря на стук и суету капельмейстера; музыкальный хаос прерван был свистом, раздавшимся за кулисами, – и занавесь взвилась. Первые пять минут прошли во всеобщем ожидании; на сцену не выходил никто, и мне становилось ужасно неловко; в партере начинали уже раздаваться несвязные слова; зрители едва удерживались от смеха; сама Агафоклея Анастасьевна привстала было с своего места; но новый свист за кулисами – занавесь упала, и только что прерванная увертюра послышалась с большею энергией. Некоторые из зрителей подошли к самой сцене, пошептались чрез щель дверей с актерами и с улыбкою сообщили всем зрителям поочередно, что Елена Савишна, то есть одна из младших дочерей, не могла решиться выйти на сцену и сильно переконфузилась. Тут Агафоклея Анастасьевна вступила в свои права и, показав знаками партеру, что берет на себя все уладить, пододвинула стул к возвышению, перешагнула через ряд зажженных огарков и скрылась за кулисами. До нас долетали некоторые выражения, из которых нетрудно было заключить, что Елена непременно решится выйти на сцену, что и не замедлило исполниться. Едва спустилась Агафоклея на нижний пол, как пронзительный свист уgomонил музыкантов; венок с голубями поднялся к потолку, и Елена предстала в офицерском сюртуке, сшитом не по ней и не совсем новом, и, что всего интереснее, глаза Елены были красны от слез. Громкий аплодисмент приветствовал девицу-офицера, которая сначала покраснела, смешалась, присела и наконец убежала за кулисы. Агафоклея Анастасьевна на этот раз рассердилась не на шутку, и стул ее уже приставлен был вторично к помосту, когда офицер вернулся и, размахивая руками, начал шепотом, вероятно, смешные стихи, но так скоро, что никто, конечно, не слышал их лучше меня, а я ровно ничего не слыхала. «Громче, громче!» – раздалось из бокового куста, впрочем более похожего на зеленый ананас, и несчастная Елена остановилась, взглянула умолявшим взором на мать и, решительно уже расплакавшись, начала свою роль снова. Никогда еще не видала я женщины в таком порыве негодования, в каком находилась Агафоклея Анастасьевна; губы ее дрожали, глаза озарялись страшным блеском; все движения ее дышали гневом; но папа и прочие гости употребили все средства, чтоб успокоить мать бедной Леночки и громкими «браво!» ободряли дебютантку, неловкую и преуморительную в мужском наряде. Вероятно, прежде времени Купер явился на помощь, и все пошло своим порядком; поэт наклеил себе брови, голову прикрыл розовым пластырем, представлявшим лысину, провел несколько черных линий поперек лица и говорил хриплым голосом, что возбудило всеобщий хохот в партере, не принявшем в соображение, что роль эта была препатетическая. В некоторых местах он даже принимался плакать, ломать себе руки в припадке отчаяния; но в мнении публики Купер должен был остаться буффом, и хохот единодушно вторил всем словам, всем жестам злополучного кузена. Пьеса кончилась скоро; актера вызвали, превознесли до небес, а барышень сняли руками с помоста и принесли к Агафоклее Анастасьевне, которая перецеловала всех, но побранила Леночку и позволила ей остаться до окончания спектакля в офицерском сюртуке. Между первою и второю пьесою явился на сцене Купер в темном плаще, подбитом красною клетчатой материей, и со шляпою, надетою на самые глаза. Лицо поэта и поступь обещали нечто чрезвычайное. Он медленно и с расстановками подошел к авансцене, презрительно посмотрел на публику, молча покачал головой, потом отступил назад, поднял руку и крикнул диким голосом: «О чем шумите вы, народные витии?» Не аплодисмент, но крик, не шум, а грохот раздался в кладовой, когда Купер



умолк; он глубоко вздохнул, приложил руку к сердцу, опять вздохнул, поклонился с важностью и, схватившись обеими руками за голову, поспешно скрылся. Как он показался мне жалок в ту минуту, Sophie, я передать тебе не могу. Mon Dieu! il est donc possible d'être bête à ce point!<sup>17</sup> Хороши и зрители! Вообрази... но нет, ты сочтешь это за экзaggerацию; клянусь, не прибавлю ничего: многие плакали от умиления и с восторгом целовали руки Агафоклеи Анастасьевны!

Последняя пьеса была произведение Купера; состояла она из стихов, танцев, кривляний и живой картины; в заключение автор проговорил куплеты в честь матери, и все прочие актеры пропели их хором и откланялись, принимая комические позы. Новый стук и крик в партере, новые «браво!» и – усталая, усыпленная донельзя, – я бегом возвратилась в дом, извинилась перед всеми и бросилась в постель. Non, on ne m'y prendra plus!<sup>18</sup> Скорей в Скорлупское! надолго, навсегда, ежели можно. Какое счастье не видеть и не слышать их более, ни музыки, ни стихов, ни чего! Je me sens brisée.<sup>19</sup> Прощай, Sophie; до интереснейшей эпохи писать не буду.

Купер просил позволения посетить нас; le moyen de refuser?<sup>20</sup> Что же это будет?

---

<sup>17</sup> Боже! можно ли быть глупым до такой степени! (фр.)

<sup>18</sup> Нет, так меня уж больше не проведешь! (фр.)

<sup>19</sup> Я чувствую себя разбитой (фр.).

<sup>20</sup> как отказать? (фр.)

## ПИСЬМО ПЯТОЕ

Со мной случилось множество происшествий, *chîrie amie*, одно другого забавнее. Не писала к тебе более месяца, чтобы собрать побольше материалов. Во-первых, Ста-рославский в наших окрестностях; мы виделись один только раз. Старославский оригинальнее всего, что я когда-нибудь встречала; *c'est un ktre a part*;<sup>21</sup> но журнал требует последовательности; итак, вооружись новым запасом терпения и слушай.

Минута возвращения от Грюковских была для меня истинным праздником; плантации мои выросли в мое отсутствие, цветов прибавилось всюду; *lady Milvort* похорошела; я кормлю ее каждое утро хлебом и езжу на ней в два дня раз; одной, впрочем, скучно. К нам прибыл из Петербурга выписанный моим отцом машинист, который взялся построить на Днестре какую-то фабрику. Все вечера проводим мы на берегу реки; множество людей занимаются этою работою. Жозефу поручено наблюдать за ними, и деятельность его баснословна: он творит просто чудеса. Машинист уверяет меня, что течение Днестра будет остановлено плотиною; не знаю почему, но мне было бы досадно, если бы машинисту-иностранцу удалось это сделать. Жозеф называет машиниста «*mon savant*».<sup>22</sup> Прошла неделя по возвращении нашем в Скорлупское, как в одно утро в превысокой коляске явились Купер и Антонина. На первом было нечто гороховое, вышитое черными шнурками; он успел написать целую поэму на скорлупское солнце, пробегающее, по словам поэта, горизонт наш гораздо скорее прочих мест, и поспешность эту приписывает кузен ревности лучей к блеску глаз моих. Антонина после долгих приготовлений решила наконец спросить у меня, какое впечатление произвел на сердце мое ее брат; я отвечала только что не полным признанием страсти, но, не выдержав, захохотала; Антонина оскорбилась не на шутку... Когда я смотрю на моих молодых родственников, невольно приходят на память мне слова одного из петербургских друзей отца, который как-то утверждал, что просвещение может принести существенную пользу только тогда, когда усвоено вполне... Купер и Антонина подтверждают подобное заключение: не исказилась ли полупросвещением вся жизнь двух этих существ, рожденных с добрыми сердцами, может быть, с прекрасными наклонностями? не был ли бы счастливее Купер простым Куприяном, а Антонина обыкновенною девушкою, воспитанною в чистых и добрых нравах, с необходимыми знаниями всего того, что составляет счастье мужей и семейств? И не попались Куперу плохой перевод Байрона, а Антонине Купер, и тот и другой не сошли бы с тропинки, которую начертила им судьба. Впрочем, бог с ними! Старославский интереснее, и потому обратимся к нему. Знакомство мое с ним так оригинально, что даже ты, которая знаешь его, вероятно, удивишься странности нашего нового соседа. Уверенность встретить в нем одного из слишком знакомых типов расположила меня к твоему знакомому весьма невыгодно для него: я готовилась быть холодною, неприступною. И вот в каком расположении духа находилась я, когда приходский священник наш явился в одно утро с просьбою окрестить только что родившуюся дочь его. Папа дал за меня слово. На следующий день, часу в двенадцатом, мы отправились в дом священника; в нескольких шагах от крыльца повстречали мы двух верховых лошадей и человека, одетого просто, но порядочно; человек поклонился нам очень вежливо, но мы едва заметили его поклон, потому что папа и я поражены были красотой этих двух лошадей. Представь себе, *chîrie amie*, мое отчаяние: *lady Milvort* дурнушка в сравнении с ними! «Кому могут принадлежать такие совершенства?» – воскликнули мы в один голос, но спросить было поздно: их провели далеко, а вернуть показалось неловко; к тому же в нескольких шагах позади нас шли рука об руку Купер с Антониною; первый мстил мне двудневным убийственным хладнокровием за какое-то слово, которое, как

---

<sup>21</sup> это совершенно необычное существо (фр.).

<sup>22</sup> «мой ученый» (фр.).

он говорит, превратило в пепел все способности его сердца. Папа, долго скрывавший нерасположение свое к поэту-родственнику, сознался наконец, что присутствие родственника в Скорлупском считает роскошью, и с той минуты уже не только не говорит с ним, но избегает всякой встречи; и на этот раз предпочел он расспросить о прекрасных лошадях у кого-нибудь другого. На крыльце были мы встречены священником, тремя взрослыми его сыновьями и гостями, прибывшими из соседних сел.

Жилище нашего священника состоит из двух небольших комнат; стены первой, или приемной, увешаны множеством портретов в монашеском одеянии; вторая комната служит спальнею, образною и библиотекою. Против самых дверей в первой комнате стояло уже на большом столе множество яств, состоявших большею частью из пирогов и жареных птиц. «Где же супруга ваша?» – спросил у хозяина папа. «Она пошла прогуляться с будущим куманьком», – отвечал священник. В это время в комнату вошли Купер с Антониною. Папа похвалил пирог, довольно вкусный, и выслушал рассказ о каком-то деле, касающемся хозяина. Купер с ужимками, свойственными молоденькой девочке, ограничил завтрак свой небольшим куском хлеба, а сестра его осуждала все и не переходила порога сеней. Так прошло по крайней мере с полчаса времени, как вдруг та же Антонина громко воскликнула: «Ах, monsieur Старославский!» – и вслед за восклицанием в дверях появился тот, кого я так давно желала видеть и кого никак не ожидала встретить в доме отца Кирилла. Сознаюсь, при имени Старославского голова моя как бы невольно повернулась назад, а слово, высказанное до половины, замерло на языке. Много раз повторенное целованье жены священника, вошедшей в одно время с гостем, помешало мне слышать ответ Старославского на кудреватое приветствие кухни; разговаривая рассеянно с будущею кумою моею, я могла только схватить на лету несколько слов, сказанных отцом моим гостю, на которые тот, кажется, отвечал очень отрывисто, а что именно – не знаю, но настал мой черед. «Павел Николаич Старославский», – сказал папа, подводя ко мне молодого человека... то есть, как тебе сказать, Sophie? молодого, не молодого, а человека лет тридцати пяти. Старославский пристально взглянул на меня и поклонился молча; я пробормотала что-то и села на свое место; он отошел.

Вот первое впечатление, которое сделал на меня фаворит твой, chère amie, – а оно, говорят, редко бывает обманчиво. Старославский не красавец, и это обстоятельство большой шанс, чтоб понравиться по крайней мере мне. Не знаю почему, но при слове «bel homme»<sup>23</sup> воображению моему представляется та фигура с черными глазами, усами, кудрями и бакенбардами, которую встречали мы на всех петербургских балах. Ты не можешь не отгадать, про кого я говорю; вспомни приторную физиономию, смотрящую самодовольно на всех женщин, на толстую золотую цепочку своих часов, большую руку, сдавленную палевыми перчатками, ажурный чулок и лакированный башмак гиганта; вспомни дачу Крестовского острова, павильон, в котором рисовался красавец во время гулянья; вспомни то отвращение, которое внушал мне некогда постоянный гость толстой княгини Л., – и ты поймешь, как страшилась я найти Старославского красавцем этого рода; но, к счастью, он не брюнет, не высок, не приглажен и, кажется, с голубыми глазами; на этот счет я успокоилась и обратила внимание на руки, ноги и все его движения: руки и ноги были малы, а движения – непринужденны; фрак неопределенного цвета, застегнутый до половины; галстух в роде batiste йсrue<sup>24</sup> и белизна тонкого белья расположили меня в пользу будущего соседа нашего.

Старославский мил и ловок во фраке. Как жаль, друг мой, что мужчины вообще не подозревают в нас способности отгадывать свойства их не только по первым фразам, но по малейшим принадлежностям туалета, по прическе волос, повязке галстука и тому подобным ничтожностям! как жаль, что многие из них изучают улыбки свои перед зеркалом, а всем движениям

<sup>23</sup> «красавец» (фр.).

<sup>24</sup> небеленый батист (фр.).

тела стараются придать ту плавность, ту грациозность, которая не только не может нравиться, но кажется приторною и ненатуральною! Сколько раз мне досадно было, что умные и любезные вещи вылетают из уст, осененных подкрашенными усами, или из головы, подпертой тугим галстуком. Такое же впечатление производит на меня фрак без складок, узкие рукава, слишком прямой стан, неподвижные руки, металлические запонки, булавка с чудовищной жемчужиной, брелоки, тщательно завитые кудри, крепкие духи, отвороченные и длинные манжеты, воротнички, покрывающие пол-лица, и тысяча других безделиц, бросающихся невольно в глаза. Ничего этого не заметила я в Старославском, и мне стало как-то легко. Встреча его с Купером ограничилась пожатием руки и двумя словами, что доказывало обыкновенное отношение двух лиц, бывших долгое время в разлуке, но не коротких. В Старославском не видно ни пренебрежения, ни той двусмысленной улыбки, которыми обыкновенно стараются выказать преимущество свое пред встречаемым лицом. Выслушав Купера до конца, гость сообразил, вероятно, что приветствие, сделанное им кузине мимоходом, было недостаточно, и потому, не оборачиваясь ни к кому спиною, он подошел снова к Антонине и сказал ей что-то, по-видимому, не смешное, но очень милое; я заключила это из улыбки кузины, улыбки, вовсе не насмешливой, но пристойной; подобное явление не часто повторялось на лице нашей родственницы. В это время в комнату внесли купель. Родители новорожденной вышли вон, предоставив одному из соседних священников совершить обряд и какой-то старушке распорядиться всем в их отсутствие. Старушка подошла ко мне с низким поклоном и просьбою качать обряд. «Но кто ж кум?» – спросила я, вставая. «Восприемником будет Павел Николаич», – отвечала старушка, указывая на Старославского, который в это время разговаривал с папа. Услышав свое имя, он обернулся; старушка повторила поклон и просьбу, обращенную на этот раз не ко мне, но к нему. Все встали со своих мест. Папа подвел меня к купели и отошел в сторону; ребенка внесла какая-то женщина и поместилась с ним по левую сторону от меня для начатия обряда. Все ожидали, чтоб Старославский занял свое место, но он не двигался и с видом совершенного равнодушия продолжал смотреть на всех нас. «Пора бы начать, Павел Николаич, – сказал наконец священник, – мы готовы». При этом возгласе Старославский с удивлением посмотрел на нас. Купер взял на себя объяснить моему будущему куму, в чем дело, и – представь себе общее удивление наше, когда вместо того, чтобы извиниться в рассеянности, заставившей нас ждать его так долго, Старославский решительно объявил, что не только не имел намерения быть восприемником новорожденной, но дал себе торжественный обет не крестить никогда и никого. Тон, с которым говорил он, до такой степени мне не понравился, что я чуть не заплакала и готова была бежать из комнаты; но папа, желая, вероятно, вывести меня из неприятного положения, вызвался сам заступить место Старославского – и ребенка окрестила я с отцом. Нужно ли прибавить, что все остальное время, которое мы пробыли в доме священника, я избегала всех случаев говорить с неучтивым соседом, что и возвратило Куперу его глупую уверенность. Вплоть до шести часов продолжалось угощение, от которого отказаться было трудно: так настоятельно упрашивали хозяева отведать и медового варенья, и просто меду с огурцами, и домашних смокв, и маку в меду. Ты, та чиге, не имеешь никакого понятия о деревенском десерте. Главная претензия угощающих состоит только в том, чтоб предлагаемое было сладко, а о прочем не заботятся. Как ни желала я, хотя бы на зло Антонине и Куперу, есть больше, но никак не могла, в то время как папа и Старославский, казалось, старались превзойти друг друга в безвкусице и, непринужденно накладывая на тарелки свои всего и помногу, превозносили искусство жены священника, которая не переставала кланяться и благодарить обоих. Последним угощением было вино, подносимое гостям тою же женщиною, которая держала ребенка. Все без исключения клали ей на поднос разные монеты. Я хотела было отказаться от вина, но папа показал мне знаком, что это невозможно, и второпях я чуть не проглотила целой рюмки. В семь часов мы распрощались с хозяевами и вышли из дому в сопровождении всего общества. Старославского пригласил отец провести вечер у нас; он подал мне руку, и первым предметом

разговора нашего была ты, Sophie! Заключение свои о тебе и многих знакомых наших выражал Старославский так резко и так положительно, и притом так верно, что мне невольно становилось неловко; каждое слово, сказанное им, было приговором, и приговором совершенно справедливым; более всего поразило меня то, что Старославский нимало не старался украсить речь свою тем желчным остроумием, которое нередко обращает в насмешку самые серьезные вещи: заключения его обо всем были строги и беспристрастны. Я прослушала его целый час и не слыхала ни одной любезности, ни одного комплимента, ни одной приторной вещи и, что всего важнее, ни одной двусмысленности; а это много, очень много! Передать тебе все подробности вечера не берусь и заключаю письмо последнею выходкою твоего фаворита; эта выходка утвердила меня в той мысли, что новый сосед наш – самое оригинальное существо, какое когда-либо мне встречалось. Просидев за чайным столом до полуночи, мы встали наконец, и гость, отыскав шляпу, подошел проститься с нами. Отец мой просил его не забывать соседей; Купер прочел прощальную тираду из какой-то драмы; я повторила приглашение отца, и оставалась Антонина, которая, вероятно, с намерением отошла к двери. Едва Старославский обратился к ней, как милая кузина погрозила ему пальцем и объявила вполголоса, но так, чтоб все слышали, что она угадала причину, заставившую его отказаться от удовольствия быть моим кумом.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.